

Аверинцев С. Так почему же все-таки Мандельштам?

...Первые побеги девственного леса, который покроеет место современных городов.

О. М.

Я начну с двух недоказуемых предпосылок.

Во-первых, канонизация Мандельштама произошла при нас, на нашей памяти. Даже любители его поэзии из старших поколений удивлялись, покачивали головой. Эх же вы, однако; а у нас он был — “мраморная муха”, “ужас друзей — Златозуб”. Тон благорасположенных мемуаристов — и у этого чудака бывали, подумать только, замечательные строчки. (Даже у Ахматовой ощущается в ее поздней записи 1963 года некоторая оторопь перед отношением к Мандельштаму именно младших.)

В пылу энтузиазма с проблемами старших разделались не в меру легко. Здесь, так сказать, *ργυτον yeudsV*, изначальная погрешность. Ведь мы все прошли через престранный первый опыт знакомства с О. М. — “замечательно, но местами как-то уж очень идиотично”, а потом постарались для вхождения в *political correctness* мандельштамизма это все позабыть, по Фрейдю — вытеснить. И вот всё расплачиваемся за такую неправдивость и никак не расплатимся, в поте лица отыскивая ответы на некорректно поставленные вопросы. Культура, историософия, ух!

“Мандельштам. Осточертел. Пыжится. Выкурил все мои папиросы. Ущемлен и уязвлен. Посмешище всекоктебельское” (Ходасевич — Б. А. Диатропову от 18 июля 1916 года из Коктебеля). “Знаете ли. Мандельштам не умен <...> Ну какой он поэт?” (он же — С. Я. Парнок от 22 июля того же года). А Ходасевич умен. Он вправду умен — но ему не под силу быть умнее собственного ума. А для Мандельштама способность вдруг подсакивать неизмеримо выше своего штандпункта и всех своих границ, которые есть у каждого умника, — совершенно нормальна.

Во-вторых, канонизация эта имеет (при всех разговорах о большой четверке) тенденцию к исключительности. О. М. — рядом с Пушкиным.

О. М. и Пушкин. Совершенно не могу найти у них предыстории, поры незрелости — а как длинна таковая у Ходасевича или Цветаевой; и еще менее того умею отличать у них строчки получше от строчек поплоче. Их обоих приходится — не без удивления, но послушно — принимать сразу, в полном объеме и на их собственных условиях. Помню, как дружественный любитель О. М. сказал мне в моей молодости: “Сережа, „Когда октябрьский нам готовил временщик...” — очень неудачные стихи”. Вроде бы я понимал, что он хотел сказать. Но разве это правда? Стихи смешноватые, не без того, — но ведь так близки к несомненному и вершинному совершенству “Декабриста”. А если они по нормам самого О. М. скорее хороши — кто мне докажет, что худо какое-нибудь “В белом раю лежит богатырь...”? И у Пушкина интонационный антиклимакс раздражавших Цветаеву строк “...И счастлив тот, кто среди волненья / Их обретать и ведать мог...”, наверное, нужен после непреодолимого нарастания в строках предыдущих, а значит, не хуже их. Пушкину виднее.

(У других поэтов мы различаем стихотворения сильные и слабые, удавшиеся и неудавшиеся. Кажется, для О. М. вопрос приходится ставить иначе: стихи необходимые и те, которых, пожалуй, могло бы и не быть, причем первые — это почти всё, а выделение второй категории не может не быть исключительно субъективным. Я, по правде говоря, не решаюсь назвать ни единого примера, потому что не готов обосновывать свой выбор.)

Именно у поэтов “чистых”, как Пушкин и О. М., которые не имеют внепоэтической серьезности, особенно отчетливо ощущается основоположный для всех вообще поэтов грамматический контраст между несовершенным видом, характеризующим жизнь как обывательщину, все, что бывает, пока не требует поэта..., и совершенным видом, необходимым для акцентировки окончательности строки. Отсюда — общее между творчеством и гибелью: то и другое есть переход от несовершенного вида к совершенному, от дрящегося проживания к дефинитивному поступку или хотя бы событию. “Погулял ты, человек, по Щербакову переулку, поплевал на нехорошие татарские мясные, повисел на трамвайных поручнях, поездил в Гатчину к другу Сережке, походил в баньку и в цирк Чинизелли; пожил ты, человек, — и довольно!” Поэтика заразна, совершенный вид подстерегает несовершенный на всех поворотах. И тогда получается дуэль с Дантесом или стихи против Сталина.

Выбрать Мандельштама — опасно. Слишком от многого приходится отказаться. Слишком многое становится рядом с ним невозможно. И это вроде бы даже нечестная игра, потому что сам он ни о чем таком не предупреждает. Он приглашал, да как риторично, к благодарности всем поэтам, какие есть: по списку. Это ему откусывал голову в рецензии Ходасевич — между тем как из противоположного угла литературной сцены дразнились: “мраморная муха”; а он очень мило отзывался о Ходасевиче, а уж о Хлебникове просто слагал какой-то эпос под своего любимого Пшавелу. Так коллегально.

Мандельштам мог позволить себе декларации вроде бы классицистские (“революция в искусстве неизбежно приводит к классицизму...”), и тут же — вроде бы авангардистские. Конечно, этими своими выходками он спровоцировал у своих почитателей уйму бестолковицы. Ведь и без него в сегодняшнем литературоведческом дискурсе все — авангардизм, и все, если придется, — неоклассицизм, понятия становятся негодными, ибо теряют границы, и неоклассицистские принципы того же Ходасевича вспоминаются с тоской, как укоризна замолкнувшей совести. У человека еще принципы были.

Но беспринципность, с которой выражался О. М., локализуется только в статьях, компенсируя, уравновешивая собой страшно жесткий выбор, совершающийся в эпицентре его же творческих катастроф. Поэзия у него круто противоположна и классицизму, и авангардизму, находясь в чрезвычайной близости и к тому, и к другому. Слепая ласточка на крыльях срезанных вот-вот в чертог теней вернется — но все-таки еще не вернулась; яркая, нежная зелень на улицах нищего Петербурга говорит о девственном лесе, который покроеет место современных городов, — но покамест есть еще место горожанину и другу горожан, и старый мир жив более, чем когда-либо; и все умещается в единой точке на дистанции между грамматическими формами будущего и настоящего. Именно поэтому мандельштамовская поэзия сама собой исключает и то, что “справа” от нее, и то, что “слева”, — вся нетерпимость, как сказал поэт о матушке филологии. По контрасту с ней все неоклассическое, все, что хоть на миллиметр “правее”, выглядит уже непереносно, мучительно наивным. Даже серьезнейшие, суровейшие, мрачнейшие Блок и Ходасевич о чем-то все никак не догадывались, а когда непоправимая догадка под конец приходила — навсегда замолкали; между тем голос Мандельштама после удушья и начинал звучать, всякий раз вбирая в себя это удушье и одновременно ускользая от него. А умница Ходасевич еще хочет напугать читателя, с важностью повторяя про своего удавленника:

“И зорко, зорко, зорко / смотрел он на восток...” Равным образом становится непереносимо все, что чуть-чуть левее Мандельштама, все, что — авангард; и это потому, что авангард, вопреки своему героическому имени, не имеет в себе достаточно риска, тонуса, напряжения. Прошу понять меня правильно: я не отрицаю, что героичен может быть авангардист или целое поколение таковых, я отрицаю героизм авангарда как принципа. В конечном счете он — не авангард, а капитуляция. Именно в качестве капитуляции он и вправду, в слишком даже буквальном смысле, “безоговорочен”. Его пресловутая “агрессивность” подменяет воинский дух, устраняет страшный риск формы — по Мандельштаму, “неутомимой борьбы с бесформенной стихией, небытием, отовсюду угрожающим нашей истории”, — позволяет уйти от этого риска. Даже великий Хлебников, колдовское юродство которого впрямь значительно, расплывается, растекается в своих “ну, и так далее”; а ведь это только почин, еще наделенный энергией почина, — только предзнаменование нескончаемого конца.

*Ко мне прицепилась и не отпускает чуть смешная строчка:
С миром державным я был лишь ребячески связан...*

Ведь и правда. Если бы не было жаль чудных мандельштамовских слов, можно было подставлять: вместо пресловутой тоски по мировой культуре, понимаемой на манер эрудитства какого-нибудь Элиота, — “с миром культурным я был лишь ребячески связан...”; вместо бесконечных разбирательств, где там у О. М. советских лет конформизм, а где так называемое сопротивление, — “с миром советским...”. Ну и так далее. Разумеется, словесно игра некрасивая, и затягивать ее не след. Но по смыслу — всегда выйдет так. Ребячески.

Как трогает сейчас, когда все привыкли делать понимающий вид при любом разговоре на тему “О. М. и культура”, выпад какого-нибудь Сергея Боброва против статьи “Слово и культура”: “Ужасная безграмотщина... с задраным в небеса носом”! Или злополучный Горнфельд, будущий мнимый злодей мандельштамовской жизненной пантомимы, так люто изругавший в “Парфеноне” ту же самую статью за компанию с андрей-беловской глоссалогией, — ведь он по крайней мере расслышал, потрудился расслышать, что О. М. толкует о чем-то, совершенно обратном эрудиции, явно непохожем на конвенциональный роман с мировой культурой. Не студия языков культуры, а глоссолалия. “...И всем и ему кажется, что он говорит по-гречески или по-халдейски”, — сказано О. М. о поэте; чушь, возражает Горнфельд, кажется это лишь тому, кто ни бельмеса ни по-гречески, ни по-халдейски. Собственно, оба правы. Мало того, только существование некоторой ограниченной, школьной горнфельдовской правоты и способно сделать позицию О. М. содержательной, отделить восторг поэта, пьянеющего классическим вином, от дешевого, ничем не оплаченного аханья гимназистки: “Ах, Пушкин, ах, Катулл!” Хитрый Вагнер ведь не только на посмешище вывел в “Мейстерзингерах” педанта Бекмесера. Нынче горнфельды-бекмесеры, хранители нудной школярской премудрости от дерзновенных покушений, перевелись; но точно ли пьяной глоссолалии поэтов стало от этого лучше? Границы размыты, выбора больше не требуется; ничто не мешает косить одновременно и под авангард, и под неоклассику. Когда О. М. делал выбор против того Пушкина, который был, в пользу того, которого не было, это были не просто слова, а вызов — ну, скажем, тому же Ходасевичу, ответственно и сурово избиравшему Пушкина исторического.

Ребяческий характер связи О. М. со всевозможными политическими, конфессиональными и культурными “величественными идеями, похожими на массивные тиары”, будь то “Россия на камне и крови”, которую “издалека благословляли столь разделенные между собой Хомяков и Киреевский и <...> Герцен”; гражданственность эсеров, Третий Рим Тютчева и Недоброво или Третий Интернационал четвертого сословия, будь то священная

держава или святая свобода, будь то католическая теократия по Чаадаеву или православные мечтания Карташева, будь то культурные утопии Вяч. Иванова или антиутопии Анненского, — ребячество это, так бесившее даже благорасположенных современников, и впрямь поражает. Будет худо, если мы перестанем его чувствовать.

“На тризне милой тени / В последний раз нам музыка звучит”. “Все перепуталось и некому сказать”. Обольщение возможностью посмертно пережить и воспеть сновидение теократии — также и в советское время. Ср. письмо Вл. В. Гиппиусу от 14/27 апреля 1908 года: “Первые мои религиозные переживания относятся к периоду моего детского увлечения марксистской догмой и неотделимы от этого увлечения”. Эти же темы в главе “Эрфуртская программа” из “Шума времени”. Полемика на тему “О. М. и сталинизм”, недавно спровоцированная Гаспаровым, была бы содержательнее, если бы чаще переспрашивалось, что означали в идиосинкратичнейшем и одновременно универсальном мире О. М. — как любителя Леонтьева и т. п. — те или иные понятия; если бы 30-е годы были увидены в контексте всей мандельштамовской биографии, а также в контексте больших глыб времени, см. “В не по чину барственной шубе” из “Шума времени”.

Очень важна тема авторитарности схоластики как импульса для поэзии в “Разговоре о Данте”, VI: “Поэма самой густолиственной своей стороной обращена к авторитету — она всего широкошумнее, всего концертнее именно тогда, когда ее голубит догмат, канон, твердое златоустово слово. Но вся беда в том, что в авторитете или, точнее, в авторитарности мы видим лишь застрахованность от ошибок и совсем не разбираемся в той грандиозной музыке доверчивости, доверия, тончайших, как альпийская радуга, нюансах вероятности и уверованья, которыми распоряжается Дант”. Полная неуместность в контексте 1933-го похвал средневековому догмату (как и в контексте 1923 года — величавого проплывания тени Леонтьева под самый конец “Шума времени”) делает симптоматичность того и другого для понимания подлинного строя мыслей О. М. еще очевиднее.

Вышеупомянутое ребячество О. М. тем примечательнее, что, во-первых, не выдуманно “нарочно”, не шуточно, не пародийно; во-вторых, очевидным образом осознано; в-третьих, не менее очевидным образом табуировано для автобиографической разработки в поэзии. Я забыл ненужное “я”.

Например, о своем еврействе и разночинстве, ставящем все державные темы в контекст остранный, парадоксальный и даже как бы пародийный, он в стихах говорить не станет. Никаких лирических деклараций к России по типу того же Ходасевича — именно я, инородец, ...сей язык, завещанный веками, храню лучше твоих слабых сынов, восемь томиков, не больше, и в них вся родина моя... Далее везде, — скажем, для сегодняшнего дня калмык Бахыт Кенжеев, который в своей Канаде вникает, как реставратор, в утраченные subtilities старинного русского говора: “Задвижку на окне нашарит...”; тут этнические обстоятельства входят в замысел наравне с географическими или хронологическими. Так Лукиану, выучившемуся превосходить греков в чистоте аттической речи, приятно было лишний раз назвать себя “Сирийцем”. Но О. М. был не совсем таков.

В этой связи должен сознаться, что с величайшим недоверием смотрю на попытки моих коллег (и отчасти уже Надежды Яковлевны) извлечь из стихов О. М., например из “Канцоны”, ух какую разработанную “еврейскую тему”.

Еврейская тема — это для Зеева Жаботинского, не для О. М. Я понимаю еврейского патриота и почитателя Зеева, который огорченно, даже оскорбленно сказал мне о поэте:

“Что там, он от нас сбежал”. С одной стороны, уж если кто “не мальчик, но муж”, так это Зеев, а Оська как раз выходит вечный мальчишка; но ведь с другой стороны, на фоне внутреннего опыта поэзии О. М. Зеев со своим сионистским героизмом — наивное дитя. Если бы для О. М. все сводилось к тому, что нужно развеять псевдоморфозу ребяческой связи с миром державным, вспомнить о своей еврейской идентичности, высвободить еврейское ядро от гойской скорлупы... Всего-то.

В прозе — еще дело другое. Но функциональное размежевание между стихами и прозой “Шума времени” и “Египетской марки”¹, какая-то мандельштамовская диглоссия, — это феномен, о котором пока еще недостаточно говорили. Автобиографическая проза — порождение того самого удушья, которое ретроспективно отметит потом лирика: депрессивного перерыва, промежутка. В нее как раз уходит все то, чему сопротивляется и что отторгает от себя мандельштамовский стих. Это не продолжение поэзии другими средствами, а отсасывание из открывшихся ран поэзии смертельных для нее ядов. И недаром Цветаева так ярилась на мемуарный (антимемуарный!) труд О. М.: пожалуй, у нее были к тому основания и помимо политики (а также свойственного ей отсутствия склонности к юмору). “Шум времени” (как и “Египетская марка”) вправду содержит в себе некую (в контексте литературного пути О. М. — временную) капитуляцию, притом отнюдь не только “идеологическую”: предвещающая нынешний постмодернизм игра на понижение, банализация всех тем, усмешечка. Но дело не только в этом. “Еврейская тема”, как и вообще всякая постановка вопроса о собственной эмпирической идентичности (“Парнок”), подсказывала ложный ответ на вопрос о главном, то есть о дистанции между миром державным (соответственно мировой культурой) и моим “я”: просто-де вот я по случайности жидочек, как О. М. называли в кругу символистов, племя чужое, Парнок, отщепенец, а вообще-то все идет, как шло. Нет, в том-то и дело, что ни для кого оно не идет, как шло, шиш. Все уменьшается. И Гёте тает...

Почему, условно говоря, “О. М. как метод” правилен? Потому что нас со всех сторон бесловит на слове и подсовывает ложные ситуации дихотомического выбора. — Ах, ты этого не хочешь? — Ой, не хочу! — Так ты уже выбрал вон то! Всё, кончено! — Возьмем хоть вопрос о мотивации гуманитарных штудий. Идеал *humanitas* предполагал, что рецитация наизусть классических стихов и тому подобные занятия “облагораживающе” действуют на человеческую природу: делают то ли “мягче”, то ли “тоньше”, то ли нравственнее, то ли понятливее, то ли свободнее — одним словом, человечнее, потому и зовется это все вместе *humanioга*... Пришли патриоты прошлого века с требованием службы культуры при деле изучения национального наследия, либералы с требованиями народолюбия, после большевики — это-де нам нужно, а то не нужно, смотрите, чтобы людям годилось, народу!

Однако, как во всякой лжи, здесь присутствовала же и правда: не дураки были древние греки, что говорили вместо культуры о PAIDSIA, то есть попросту о “воспитании”. Конечно, только уж очень наивным людям могло даже в наивные времена примерещиться, будто это воспитание благонравия, — а затем явились тоталитаризмы со своими воспитательными прожекторами, возведшими мертвое благонравие в небывалую, невиданную степень; но если мы в антиавторитарном задоре отменяем сам по себе императив воспитания, мы должны чувствовать, что крушим позвоночник культуры — ту вертикаль неравноправных ценностей, которою культура держится в состоянии прямохождения. И приходит — пся-кровь, всетерпимость...

“Блаженное, бессмысленное слово” — оно как раз достаточно бессмысленно, чтобы на слове невозможно было словить, однако и достаточно небессмысленно, чтобы хранить неостывшую память о словесности слова, о Логосе.

То и другое отмерено и выверено — до каких-то бесконечно малых.

Вена.

1 Проза ранних статей вроде “Утра акмеизма”, а также “Разговор о Данте” при подобном размежевании оказывается на стороне стихов. Естественно, в обоих случаях она рождалась параллельно со стихами, и автобиографическая рефлексия в ней элиминирована.